

# Умиравший

## I

### На рубеже

Он знал, что умирает... Как ни скрывали от него решение, подписанное целым синклитом докторов самой высокой пробы, он по лицам и тревожному, сдержанному шепоту, раздававшемуся из соседней комнаты, угадал, что приговор его подписан... Да он и сам чувствовал, что сердце его надорвано; что оно – вот-вот – и откажется служить...

А как не хотелось умирать! Он не выказывал этого страшно-тревожного чувства при других; при других он казался философски-спокойным; он всю жизнь привык играть комедию, в которой роль героя всегда была за ним. Но когда он раздражительно – вот как теперь, в эту минуту – отсылал всех прочь и оставался один, он временами приходил в отчаяние, тем более тяжелое, что оно было бессильно; тут уже не было борьбы, а было только решенное дело!.. Он с отчаяньем оглядывался кругом на все эти привычные, окружавшие его предметы роскошного кабинета, куда он пожелал, чтобы его перевели из спальни, и где он проводил бессонные ночи в широком вольтеровском кресле; лежать он уже не мог: не давало покоя сердце...

И с чего это с ним приключилось? Ведь вся его жизнь шла как по маслу, без сучка и задоринки?.. Хорошая жизнь, полная успеха!.. Вот эти-то успехи и не давали теперь ему покоя! Их-то, главное, он и жалел... А сколько успехов впереди! Ведь он еще в полном цвете лет; всего на днях стукнуло 52 года, а он уже тайный советник<sup>1</sup>; того и гляди, получил бы новую звезду! Непременно получил бы! А это дело, что впереди, которое пришлось бы ему же защищать; какое дело! Как бы он опять тут высказался!.. Он уже видел себя говорящим перед громадной толпой... Он все более увлекается... Гром аплодисментов... Его противник разбит, уничтожен... Он гордо, как Цезарь, озирается кругом... И оставить все это; то, что было его жизнью; этот восторг толпы, поклонение и даже подобострастие; этот фимиам, от которого часто кружилась голова; этот триумф: победить, попать!.. А ведь все эти волнения нелегко ему давались!.. Недаром сердце-то отказывается служить!..

Любил он и роскошь... Зато, что за изящество окружало его, возбуждая зависть других, поскромнее!.. Для этой-то зависти он, отчасти, и заводил и кровных рысаков, и дорогие картины, и давал лукулловские пиры... Это все тешило его же восторги, в излишествах которых проскальзывала зависть... Ведь это министерский кабинет! И как все в нем роскошно, изящно и вместе солидно; да, более солидно, чем его сердце, которое вот скоро порвется, а эти резные дубовые шкафы, эти обитые тисненым сафьяном стулья и массивная бронза на массивном столе – будут жить долго-долго, перейдя к кому-нибудь, кто, пожалуй, и не оценит их стоимости... Он слегка вздохнул, вспомнив своего сына, умершего мальчиком-подростком: он бы оценил...

– Вот тоже... – но не кончил своей мысли, торопясь перейти к другому предмету...

Да, хорошо он прожил жизнь! С самого детства все розы и розы; куда девались шипы, он о том никогда не справлялся, благо, что они не кололи его; то те, то другие отстраняли от него эти шипы, оставляя только розы! Может, они кололи других, – но ему до того не было дела, он видел перед собою только широкий ровный путь; так от колыбели до могилы... до могилы!..

Он содрогнулся от ужаса! О, чего бы он ни дал, чтобы отстранить, отодвинуть от себя эту могилу! Хоть лет на пять, хоть на год!.. Только бы еще пожить, еще покружиться в этом чудном вихре успеха, похвал, ликованья!..

Он тоскливо метался головой по подушке. Он готов был кусать эту подушку, чтобы заглушить kloкотавшие в груди вопли отчаянья; готов был впиться всем своим существом в эту отлетающую от него жизнь! Это отчаяние перешло в страшную злобу, когда он помыслил о том, что другой, именно враг его, один, который смел поднимать перед ним голос, отвлекая от него

---

Рассказ публикуется по: *Ребус, 1900, №17–19, 23 апреля – 7 мая*; автор не указан.

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.

<sup>1</sup> Тайный советник – в России гражданский чин III класса в Табели о рангах, соответствовал чинам генерал-лейтенанта и вице-адмирала. Лица, его имевшие, занимали высшие государственные должности, например, министра или товарища министра, руководителя крупного департамента, сенатора, академика Императорской академии наук.

внимание толпы, – займет его место и ему впоследствии также будут рукоплескать!.. Конечно, только впоследствии, когда понемногу забудут его... А все же забудут!.. Что за ничтожество эти люди! Ведь вот теперь ставят на пьедестал, превозносят до небес, а потом забудут, как забыли сотни, тысячи и до него!.. Презренные людишки! Как он их всегда презирал, как был счастлив, когда мог прижать их пятой; а между тем, они-то и были ему нужны; нужны для того, чтобы его превозносить!..

Он тоскливо оглянулся кругом. В зеркальные стекла окон, полускрытых тяжелыми бархатными занавесками, дробью бил дождь, пополам со снегом... Проклятая петербургская весна! И для чего он не уехал на юг, как ему советовали доктора? Может, там бы поправился... Да; он вспомнил: он тогда-то и защищал то дело, которое ему принесло такой триумф именно своею неожиданностью... Завистники болтали, что он защитил виновного и втоптал в грязь невинного... Пустяки! Один другого стоил; а этот, по крайней мере, стоял высоко... связи... Да и куш тогда получил чудесный! Зато те, завистники-то, чуть не лопнули с досады, когда узнали, что ко всему прочему он обзавелся еще прелестной виллой в Ницце, его мечтой последних лет... Вот где ему поправится! Ну, да чуть наберется сил, так и поедет туда... Там и поправится! Поправится... Он снова вздрогнул и с ужасом огляделся... Ему стало страшно одному... Что-то мрачное, зловещее чудилось, кралось к нему, ползя... Он резко звякнул в пуговку электрического звонка... Прибежали зараз сиделка, лакей и домашний доктор... Как все эти люди надоели ему!..

– Княгиня дома?.. – спросил он слабым голосом.

– Выехать изволили, – был ответ.

Он снова махнул рукой, чтобы все вышли. «Выехала!» – улыбнулся он с горечью. «Очень надо было ехать!.. Видит, отец умирает! Каменная!.. Она всегда была каменная... Все это мое испытание... Не мог приручить...» – шептал он. Вот, если бы жена была жива... Он коротко вздохнул и провел бледной рукой по лбу, будто отгоняя тяжелую думу; и снова остановился мыслию на дочери. Ведь вот и тут судьба его побаловала; такую сделать партию: князь, камергер<sup>2</sup>... Что же, что старик? А ведь, как дура, артачилась! А теперь какую роль играет в обществе; ко двору представлена!.. А все неблагодарна!.. Каменная!.. Живет у меня, как у Христа за пазушкой; все готово... Теперь бы только ей за мной ухаживать; а она, вот только что ее хватился, а ее нет; уехала...

Снег с дождем по-прежнему шлепался по зеркальным стеклам. Небо было серо, тускло и в комнате стало также серо и тоскливо; и по-прежнему что-то мрачное, зловещее чудилось, кралось к нему, ползя... Хоть бы луч солнца, хоть бы один луч! А ведь придет же потом и настоящая весна, со светом, теплом, цветами... А его не будет; и что всего досаднее, все будет идти по-прежнему; ничто не изменится с его смертью... Да; вот что изменится: его враг станет на его место и все восторги толпы... «Нет... нет! Я хочу жить... Хочу!.. Хочу!..» – уже вскрикнул он громко и упал навзничь...

Прибежавшие на крик сиделка, лакей и домашний доктор нашли его уже мертвым...

## II

### За рубежом

И так, еще одна жизнь была пройдена, и дух покинул родное тело...

Да, он был прав; эта жизнь была непрерывным праздником от колыбели до могилы. Вымоленный, выпрошенный, как про него говорили, – единственный сын, любимый до обожания, балованный до сумасбродства, богато одаренный от природы, – он шел победителем среди ряда восхищавшихся им родных и знакомых; среди угара воскурений, от которых невольно кружилась голова... Не мудрено, что он любил жизнь и с ужасом думал о смерти или о том, что люди называют смертью. И вдруг... все кончилось! Именно это слово «кончено!» было последним словом, которое он услышал на земле, а затем тишина и мрак...

Он, этот дух, только что оставивший землю, не знал, сколько времени продолжалось это безмолвие, мрак и неведение?.. Когда он стал что-то сознавать, он несся в беспредельном пространстве, еще не давая себе отчета – что с ним и где он?.. Он несся по какой-то непонятной

---

<sup>2</sup> Камергер – придворный чин и придворное звание высокого ранга.

ему инерции, в тумане, казавшимся ему первобытным хаосом. Он даже не сознавал того, был ли он точно окружен туманом или это было туманное, неопределенное, его собственное состояние. Кругом него скользили какие-то тени; гремели какие-то звуки, мелькали и искрились какие-то неведомые светила. Он силился что-то сознать, что-то вспомнить – и не мог; и летел так дальше, может быть, день, может быть, год, может быть, столетие и дольше... Но вот, мало-помалу, туман стал проясняться; скользившие тени стали принимать более определенные образы; он мог яснее слышать звуки; яснее видеть сверкающие лучезарным блеском светила, эти необозримые миры необозримого пространства... И он стал вспоминать... Он все вспомнил... Все, все! Он сознал, что он жил и что он только что оставил свою последнюю жизнь; он сознал и то, что эта была только последняя его жизнь; а что перед тем он жил еще и еще. Теперь он видел перед собой все эти пережитые им жизни и остановился на последней, так как он сознавал, что эта последняя и понесет свою карму...

Сначала в нем снова затрепетала жалость по этой только что оставленной им жизни, с триумфом ее нескончаемых празднеств. Он снова увидел себя в теле этого гордого красавца, одаренного талантами, красноречием... «Овому один талант, овому два...»<sup>3</sup> – мелькнуло перед ним... Он не зарывал свои таланты в землю; но сделал ли он из них другие «пять талант[ов]»?.. И вдруг он, дух, увидел ясно, как все это, чем была полна его жизнь, – было мелко и пусто; вся эта мишура, окружавшая его, которой так завидовали и которой он так кичился... И ему стало больно и стыдно!.. Из-за чего оно бьется это бедное человечество, жадно хватаясь за осколки стекла, принимая их за бриллианты? Жадно добиваясь пустого звука, называемого славой. Беспощадно попирая ногами меньших братьев, только для того, чтобы на их помянутых телах стать ступенькой выше? Он видел себя во все фазисы этой последней жизни. Видел ребенком, которого коверкали насколько возможно, чтобы из него, чистого, как луч солнца, и правдивого, как солнце, сделать куклу на пружинах, умеющую вовремя улыбнуться и лгать этой улыбкой, как позже словами. Видел, как зараженный тщеславием своих родителей, он лез из кожи, чтобы достичь той мишуры, что люди считают чистейшим золотом; продолжая все больше лгать, все больше и больше попирая завет «любви к ближнему»; стараясь душить этого ближнего на всех путях жизни, чтобы самому хватить побольше. И чего хватить?.. Стоило ли ребенку отчаиваться из-за плохого балла, прикрывшего такое же душевное убожество, как и золотая медаль, не развившая ничего, кроме пустого тщеславия? А получив хороший балл или золотую медаль, разве он радовался им, а не тому, что мог пустить ими пыль в глаза, возбудить зависть в товарищах и смотреть на них с пренебрежением?

А как его тешили эти мыльные пузыри, эти восторги толпы, приветствовавшей в нем красноречивого оратора! Он шел среди них точно победитель, безжалостно попирая все, мешавшее его победоносному шествию... Как теперь все это показалось смешным отлетевшему духу! Каким жалким показался он сам с его страстью к этим трещоткам, с его напыщенной гордостью!.. И что же дала ему эта гордость, это удовлетворенное трещотками – тщеславие? Ничего, кроме угара от этих ничтожных фимиамов; затаенной зависти в сердцах иных и накипевшей злобы в сердцах других, им презиравшихся и безжалостно попиравшихся!.. Употребил ли он эти так громко превозносимые таланты на пользу ближнего? Нет, – он умел только презирать и, презирая, часто делал зло. Теперь, в эти моменты самобичевания, он ясно сознал, что часто его блистательная речь, сопровождаемая громом рукоплесканий, служила на пользу подонкам человечества и топила достойных. Из тщеславия он не делал уступок и, думая только о себе, без разбора губил направо и налево. Из тщеславия он погубил своего родного сына, болезненного мальчика, которого заставлял учиться через силу и уложил в преждевременную могилу, куда за ним ушла и мать, его кроткая жена, преданная, любящая раба, тщетно умолявшая за сына, умевшая только любить и страдать. Из тщеславия он погубил дочь, отдалив от нее достойного, но не блестящего мишурным блеском любимого ею человека, бросив ее в объятия старого, то титулованного развратника, и для вящего блеска держа ее с мужем подле себя в золотой клетке на золотой цепи... Да, – он не любил никого, кроме себя! Он не умел любить, – он только презирал...

---

<sup>3</sup> Слова из Евангелия (Мф. 25, 15): «И овому убо даде пять талант, овому же два, овому же един» («И одному дал он пять талантов, другому два, иному один»).

Дух с содроганием отвернулся... Он видел предыдущие воплощения; видел их карму и ждал того же и за последнюю жизнь; ждал, что эта жизнь, полная трескучего блеска, за которым часто скрывалась неудовлетворенность слишком избалованного человека, подготовила почву для искупления. Что те страдания, те жалкие уколы болезненного самолюбия не вели к усовершенствованию; что, кому много дано, с того и больше требовалось, а неумело употребленное богатство не минует своей кармы... Он ждал и трепетал... И все несся в пространстве среди массы других «духов»... Его карма уже началась: она лежала в том гнетущем состоянии, что люди называют угрызениями совести, что мешало ему наслаждаться... И неужели это будет так до нового воплощения?..

Но милосердие коснулось и его горделивого чела; и ему был дан удел насладиться и отдохнуть в виду новых трудов новой жизни... Он почувствовал как понемногу с него, будто тяжелые путы, спадали эти угнетающие его тоска и раскаяние. Ему становилось все легче; и он сам с большей легкостью, с большим порывом несся среди еще ярче сверкавших светил новых, более сладких звуков и ароматов... Скоро его всецело охватило невыразимое блаженство! Он сам не мог дать себе отчета, в чем состояло это блаженство? Да он и не вдавался в размышления, весь отдаваясь этому блаженству, охватившему его волной и окрылившему подобно эфиру, среди которого он несся в необозримом пространстве... Он уже не смотрел на сонмы других «духов», как на что-то ему чуждое; напротив – все они были ему близки; и он узнавал своих близких по земле; и они узнавали его и радовались ему и неслись вместе с ним, такие же довольные, братски любимые... Так шли... он не знал: дни ли, года или столетия?.. Он думал, что так будет бесконечно... Но бесконечность ограничилась не этим; она была в дальнейших воплощениях... Отдохнувший от жизни дух должен снова идти в «юдоль скорби», называемой жизнью людей, и понести искупление за предыдущую жизнь, карму, которая ничего не прощает...

Тяжело было ему оставлять необозримые поля необозримого пространства с его безотчетным блаженством!.. Он не выдержал: он стал молить о том, чтобы эта чаша не так скоро коснулась его губ... Он был слаб. Он боялся новой жизни; он скорбел об ускользавшем блаженстве в пространстве... Он малодушествовал этот бедный, слабый дух... Будущее воплощение ужасало его; он не надеялся на лучшее... Он трепетал... Оставить это дивное, непостижимое пространство с теми «духами», что были так ему близки в предыдущих воплощениях... Расстаться со всем этим, чтобы идти на неведомое, тяжелое и снова тянуть эту нескончаемую канитель, людскую жизнь!.. Но далее откладывать было невозможно... Он должен был повиноваться Высшей воле; он, свободный дух, должен был снова заключиться в тесную клетку людской плоти со всеми ее страстями, болезнями и страданиями... Он еще не знал той участи, что предназначал ему рок... Он трепетно ждал, с ужасом озираясь на далекую землю... О, если бы!.. Но судьба его была решена! И бросив последний взгляд на все дорогое, им оставляемое, – он отчаянно рванулся вперед и обомлел пред той участью, на которую был обречен... Мольбам о пощаде не было места; и свободный дух воплотился в рождавшемся... идиоте... То была его карма...

### III

#### Карма

Это была ужасная карма: состояние духа, чувствовавшего, что он поработен материей, как вольная птица, заключенная в тиски, из которых ей нет возможности вырваться; как паралитик, который сознает, куда ему надо ступить, но, поработенный недугом плоти, делает шаг совершенно в противную сторону своей парализованной ногой, не слушающей велений разума, или парализованной рукой не может схватить намеченного предмета!.. Дух был бессилен перед животной душой, в свою очередь поработенной несовершенством организма. И что было всего ужаснее, так это то, что он вполне сознавал все это с той первой минуты, как рожденный в этом, обиженном природой теле, – появился на свет!

Никто тогда еще не знал о страшном недостатке рожденного, принятого как дар неба: а он уже знал о своей участи и страдал... Но скоро и родители, обожавшие свое дитя еще до его рождения и с гордостью приветствовавшие в нем первенца, наследника их громкого имени, были

тревожно удивлены, встречая его – не просветлявшийся временем развития – идиотски неподвижный взгляд и бессмысленную улыбку... О, с какой радостью он улыбнулся бы им той чудной детской улыбкой, в которой сквозит небо! А вместо того появлялась эта бессмысленная гримаса, от которой становилось жутко... С какой радостью он промолвил бы те первые слова, что звучат для родителей сладкой гармонией, но слова замирали в его груди, из которой вылетали только звуки, похожие на мычание, а непослушная ручка, хватая предлагаемые ребенку игрушки или лакомства совала их куда ни попало без смысла и воли, не подчиняемой мозгу...

«Идиот!»... Это ужасное слово стало все чаще и громче раздаваться вокруг него. «Неправда!» – хотелось ему закричать так громко, чтобы перекричать их всех, заклеймивших его этим страшным наименованием: «Неправда! Я все понимаю; я только не могу... не могу!.. Дайте мне волю подчинить себе эту слабую животную душу, поработанную материей, полной несовершенств!» Но вместо того из груди его несло бессмысленное мычанье или одно глупое, ничего не выражавшее слово и мышцы лица стягивались в глупую улыбку, а глаза, хотевшие сказать так много, тупо останавливались в одной точке... И снова слышалось слово: «Иди-от!»...

Отец скоро отвернулся от него; он, мечтавший так много о своем ребенке еще до его появления на свет, – не мог перенести своего бесчестия иметь сыном идиота и вычеркнул его из своего сердца... Но мать... О, она тоже обожала его еще нося его под сердцем и сладко о нем мечтала, с любовью смотря на крошечные рубашечки, приготовлявшиеся ее руками... Она тоже гордилась им, своим первенцем, и, еще не взглядевшись в его бессмысленную улыбку, – готова была признать его ум чуть не с первого дня его рождения! Но она не отвернулась от него и после того, как над ним прогремел приговор. Она любила свое дитя, это несчастное дитя с его бессмысленной улыбкой и бессмысленным мычаньем. И он, дух, все это видел, понимал и от того страдал еще более!.. О, как бы он хотел теперь, когда он, уже отроком, а потом юношей, – пробуждаясь от сна, видел склоненное к его изголовью ее бледное лицо с мокрыми от слез глазами, – броситься к ней на грудь и сказать ей так много-много хорошего, что он мог бы, казалось ему, сказать... Но он не мог, не мог... И это было всего ужаснее!.. И часто от бессилья сделать хорошее он делал то, что было ему неприятней, невыносимее, и она страдала еще более и еще сильнее текли из глаз ее слезы...

Не была ли его карма и ее кармой? Не была ли она тогда, в предшествовавшей жизни, тоже его матерью, матерью этого гениального ребенка, которым так гордилась, ради которого готова была убрать с его дороги всех других детей, быть может, выше его и умом, и сердцем?.. Не была ли его карма ниспослана ей с целью искупления, новой стезей к усовершенствованию?.. И она несла свой крест безропотно; она не ожесточилась... Не зависть, не горечь возбуждали в ней другие, здоровые дети: нет! Она страстно любила всех детей, в особенности несчастных. Она окружала себя ими; она старалась внести свет в их жизнь... Да; его карма была и ее кармой: он видел это и временами это его утешало и заставляло менее страдать. А то разве он перенес бы так долго свои мучения?..

Ему казалось, что он живет столетие, когда он дожил только до возраста юноши, все такой же бессмысленный идиот, от которого сторонились с омерзением, над которым его сверстники, не стесняясь, смеялись ему прямо в лицо... О, как они были жестоки! Они и не подозревали того, что его дух парил так же высоко, как и их дух; что он мог бы сказать им так много умного, хорошего; что он понимал все, что вокруг него говорилось и мог бы ответить разумно! И он порывался сбросить с себя эти путы, он начинал говорить... Но кругом раздавался смех, вызванный его нелепыми словами – совсем не теми словами, которые, казалось ему, были уже на языке, – и этими дикими движениями идиота... Этот смех раздражал его иногда до бешенства; и мать, желая спасти его от насмешек, спешила увести его прочь; а он, вместо того, чтобы броситься перед нею на колени и целовать край ее одежды, – топал на нее ногами, рыча, как зверь, и отбиваясь...

О, наконец, это стало невыносимо! И он решил покончить со своим существованием, думая, что всякое другое в другом мире, куда он уйдет, – будет все же лучше... К тому же он не раз слышал ужасные слова: «Хоть бы он поскорее умер, этот несчастный идиот!..» Он слышал эти слова и из уст отца, тяготившегося сыном-идиотом, как позором... И вот раз, в минуту отчаяния, он выбежал, никем не замеченный, в парк их деревенского дома и, не разбирая, побежал прямо по старой липовой аллее. Он бежал, не переводя духа, торопясь, спотыкаясь, боясь, что его остановят. Он не замечал гнавшейся за ним матери, бдительный глаз которой уже заметил его отсутствие.

Она тоже бежала за ним, спотыкаясь и задыхаясь, боясь крикнуть, призывая на помощь, чтобы этим криком не испугать его еще более. Ее чуткое сердце угадало опасность; и когда он с разбега прямо бросился в темные воды пруда, она, не раздумывая ни минуты, кинулась спасать его... И тут началась борьба... Он видел; он узнал ее; он готов был отказаться от своего намерения и, бросившись к ней, на руках вынести ее из воды; он понимал, что ее любовь в нем, к этому парию общества, заставила ее решиться на такой подвиг... А он вместо того чтобы спасти ее, топил ее, отбиваясь от ее слабых рук с отчаянием пытавшихся вытащить его из воды!.. Но недаром любовь сильнее смерти и делает чудеса! Она, изнемогая, чуть дыша, вытащила его на берег и упала без чувств, сдав его на руки прибежавшим на крик людям...

Но это усилие, эта борьба не прошли ей даром и скоро он остался один без этой любви, гревшей его от колыбели и теперь застывшей вместе с холодным трупом... Он, как истукан, стоял вместе с другими у ее покоившегося в цветках тела, и тогда, когда его дух томился в страшной тоске, когда он готов был с воплем отчаяния броситься на этого холодное тело и согреть его поцелуями, повторяя слова безграничной любви, – он, этот идиот, глупо улыбался и пялил глаза на огонь свечки, которую ему сунули в руку; и, наконец, хватив рукой за огонь, дико вскрикнул от боли, и его увели прочь...

Теперь он остался один; среди чужих людей, в заведении, куда его поместил отец... О, сколько там было таких же, как он, несчастных! И он знал, что они также несчастны потому, что таившийся в них дух, также как и его дух, понимал все и тщетно боролся и животной душой, поработанной несовершенством материи... Но он не долго прожил среди них: Бог сжалился над ним и прекратил его карму... Когда он сбрасывал с себя эту несчастную оболочку, в которой так страшно томился его дух, он – вдруг весь преобразился! На лице его появилось такое выражение, какое до того никогда не озаряло его бессмысленного лица. Взор его вспыхнул сознанием и с блаженной улыбкой на устах он ясно, как никогда, произнес: «Мама!»...

Никто не понял того, что он, просветленный, увидел у своего изголовья свою мать, дух которой и принял его исстрадавшийся в несчастном теле – дух!..